Статьи. Теория

Виктор Вахштайн

Пересборка города: между языком и пространством

В статье рассматривается проблема соотношения языка и пространства в городских исследованиях. Отталкиваясь от изучения городских идеологий (модернистского урбанизма, левого урбанизма, хипстерского урбанизма), автор предлагает теоретическое решение, исключающее априорное различение языка и пространства, — ресурсами такой реконцептуализации становятся философия пространства Г. Лейбница и социальная топология Дж. Ло. Автор показывает, какие аксиоматические допущения социологической теории проблематизируются, если город начинает изучаться как топологически множественный пространственный объект, частью которого являются его собственные описания.

Ключевые слова: хипстерский урбанизм, метагорода, анализ идеологий, социальная топология, городские исследования, пространственная форма, Г. Лейбниц, Дж. Ло, Б. Латур.

— Крупные научные силы сосредоточены
на несусветном факультете, большая их часть —
на кафедре невозможностей. Примеры: цыганская

Вахштайн Виктор Семенович — кандидат социологических наук, заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии философско-социологического отделения ФГУ РАНХиГС, профессор Российско-Британского университета МВШСЭН («Шанинка»). Научные интересы: социология повседневности, фрейм-анализ, эпистемология социальных наук. E-mail: avigdor2@yahoo.com

Этот текст — результат моего сотрудничества и общения с коллегами по Центру социологических исследований РАНХиГС и Московского института социально-культурных программ. Я особенно признателен Павлу Степанцову и Кириллу Пузанову, с которыми мы приложили немало усилий, чтобы сделать хипстерский урбанизм эффективно работающей городской идеологией; теперь необходимо приложить столько же, чтобы сделать его предметом рефлексии.

Статья написана по результатам научно-исследовательской работы «Трансформация культурного пространства мегаполиса: картография, экспертиза, мониторинг», проведенной Центром социологических исследований в рамках государственного задания 2013 г.

урбанистика или коневодство у ацтеков. Сущность наук, как правило, состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности, а для программы несусветного факультета — невозможности.
— Как насчет социологии Сахары?
— Ничего, — сказал Бельбо.
— Очень даже ничего, — веско повторил Диоталлеви.

У. Эко. «Маятник Фуко»

Данное исследование посвящено проблеме взаимосвязи городского пространства и языков его описания.

Прочитав эту фразу, компетентный читатель немедленно отложит журнал или перейдет к следующей статье. Недавний всплеск интереса к урбанистике должен был сделать город объектом теоретической рефлексии в релевантных дисциплинах, но на практике привел к инфляции высказываний. Говорить о городе стало легко и необременительно. Сегодня любое журналистское описание городской жизни априорно вызывает больше доверия, чем социологическое исследование той же проблематики. Сами социологические исследования (и наши не исключение) усилиями авторов избавляются от клейма академичности, чтобы получить допуск на экспертный рынок. В ситуации поствавилонской урбанистики мы окончательно утратили способность говорить о городе осмысленно. И, тем не менее, осознавая всю самоубийственность заявленной задачи, мы попытаемся еще раз поставить вопрос о связи языка и города. Это стремление продиктовано настоятельной необходимостью выйти за рамки привычных — как социологам, так и обывателям — способов мыслить отношение «город — язык».

Второе предупреждение касается структуры и жанра данного текста. Чтобы преодолеть границы некоторого способа говорить и мыслить, этот способ сначала нужно воспроизвести, а затем подвергнуть рефлексивному анализу. Для такого анализа необходим иной способ говорить и мыслить, который будет находиться в метапозиции по отношению к первому. Но чтобы отрефлексировать подобную метапозицию, потребуется мета-мета-язык и так ad infinitum. Это традиционное обвинение в адрес любого исследования языков описания. Далее я попытаюсь показать, что возгонка метаописаний не отдаляет, а, напротив, приближает нас к объекту анализа (городу); это движение не вверх, а вперед. Мы будем рыть туннель с двух сторон: со стороны языка (исследование идеологий) и со стороны городского пространства (социальная топология), питая робкую надежду соединить два подземных хода в точке «0». Именно

поэтому разделы, идущие «от языка», пронумерованы -3, -2, -1..., а разделы «от пространства»: 3, 2, 1... Побочным эффектом выбранной стратегии оказывается не только инверсия повествования (когда мы вынуждены начать с кейса, и только потом перейти к теоретической рамке), но и непреодолимая стилистическая неконсистентность. Автора можно одинаково справедливо обвинить и в поверхностной публицистичности (в первой части текста), и в нерелевантных философских спекуляциях (во второй). Но это та цена, которую нам придется заплатить за возвращение словам смысла.

-3. Анализ кейса: хипстерский урбанизм[1]

Привычная социологическая оптика заставляет нас различать за политическими решениями и ходами подлинные мотивы, ставки и интересы игроков [Бурдье, 1993]. Однако есть и принципиально иной способ мыслить политику, особенно городскую. Не задаваясь вопросом, «Что за этим кроется?» [Луман, 2002, с. 320], мы анализируем устойчивые повествования о городе, предполагая, что существует множество дискурсивных полей, одно из которых — поле политики. То есть помимо литературных («Москва в произведении Гиляровского»), визуальных («Нью-Йорк в комиксах о Бэтмене»), исторических («довоенный Вильнюс в воспоминаниях современников») и множества иных дискурсов мы можем выделить особый кластер политических репрезентаций города («Москва в Стратегии развития-2025»). Такие нарративы мы далее будем называть *городскими идеологиями* [Hackworth, 2000].

Ключевое отличие идеологий от иных типов нарративов состоит в том, что они встроены в процесс принятия политических решений. При этом формируются подобные идеологии, как правило, не внутри управленческой машины, а совсем в иных дискурсивных пространствах — формируются как устойчивые языки описания города со своей аксиоматикой, оптикой и, что особенно важно, метафорикой. Всякая идеология — язык описания, но далеко не всякий язык описания — идеология. Этот тезис, заимствованный нами из исследовательского направления IPA (Interpretative Policy Analysis) [Schon, Rein, 1994, Яноу, ван Хульст, 2011, с. 87–113], позволяет представить все пространство принятия политических решений как битву разных языков описания за право определять, что такое город и каким он должен быть.

---

1 Этот текст появился исключительно благодаря моему общению с Анной Сакоян из проекта Polit.ru.

Сегодня в большинстве мегаполисов мира мы найдем два противоборствующих языка описаний, сложившихся в конце XIX — начале XX в. Базовая метафора первого языка: *город как машина роста, машина развития*. Рост здесь понимается прежде всего как экономический рост. Это модернистский нарратив высокого урбанизма.

Именно в городах концентрируются все основные ресурсы (человеческие, материальные, интеллектуальные) и именно здесь происходит самый значимый модернизационный прорыв XIX в. Высокий урбанизм — плоть от плоти высокого модернизма. Мы найдем немало примеров такого мышления о городе в Советском Союзе 20–30-х годов [Паперный, 1996], но классический пример — Нью-Йорк Роберта Мозеса [Moses, 2007]. По свидетельствам современников, Мозес страдал комплексом «гиперактивного строительства», нью-йоркцы называли его master builder. Его фетиш — скоростные городские магистрали, parkways и highways. Идеология манхэттенизма (с акцентом на строительстве небоскребов, автономизацией кварталов и гипернасыщенности городского пространства [Колхас, 2013]) получила при Мозесе новый толчок. Мозесу приписывается возведение в культ двух свойств современного мегаполиса — *мобильности* и *плотности*[1].

За таким модернистским способом мышления о городе стоит классический просвещенческий рационализм. Р. Декарт мимоходом замечает: «...старые города... обычно скверно распланированы по сравнению с теми правильными площадями, которые инженер по своему усмотрению строит на равнине» [Декарт, 1989, с. 267]. Однако в США классический рационализм усиливается пуританским утопизмом и ярким образом «Сияющего града на холме», абсолютного земного центра [Bremer, 2003]. Несколько утрируя, можно сказать, что метафорика высокого урбанизма проходит путь от Сияющего града Джона Уинтропа до Лучезарного города Ле Корбюзье [Curtis, 1994].

---

1 В этой связи кажется любопытным объяснение стремительного роста и развития шотландских «каменных» университетов (в Эдинбурге, Глазго, Абердине и Сент-Эндрюсе), которое предложила в 1997 г. парламентская комиссия Р. Диринга. В отличие от негородских Оксфорда и Кембриджа шотландские университеты изначально создавались как центры политического влияния — в крупных городах того времени. И спустя несколько столетий (на этапе индустриализации) сосредоточение образованного населения, науки и экономических ресурсов в нескольких ключевых точках обеспечило модернизационный прорыв Шотландии. В результате шотландские университеты существенно выиграли именно за счет урбан-фактора [Вахштайн, Железов, Ларионова, Мешкова, 2005].

Второй язык мышления о городе формируется несколько позже модернистского. Его самоназвание — новый урбанизм [Лефевр, 2002], но мы будем называть эту городскую идеологию левым урбанизмом [Грац, 1995]. Левый нарратив прицельно бьет по наиболее уязвимым точкам высокомодернистских проектов. Все, что начинается как машина роста и развития, рано или поздно оборачивается «Метрополисом» из фильма Фрица Ланга. Или — совсем другой сценарий — как город Бразилиа, вдохновленный Осакром Нимейером и построенный Лусио Костой.

Модернистский город — машина роста и развития — соединяет в себе мечты таких разных людей, как Ле Корбюзье и Роберт Мозес: он динамичен, мобилен, богат и... плохо пригоден для жизни. Это Москва в кубе. Поэтому для левых урбанистов город — тоже машина, но *машина отчуждения, неравенства и несправедливости*. Возьмем уже упомянутый город Бразилиа. После окончания строительства рабочие не пожелали вернуться в свои городки и деревни (как предполагали «свободно парящие» авторы проекта), а создали на окраинах построенного ими города-птицы параллельный город трущоб [Holston, 1989]. (Нечто подобное сегодня происходит на внешней стороне МКАДа, в поселках вроде «Даров природы» или внутри кольца на просторах зачищенного черкизовского рынка.) Наиболее динамично растущие города Индии и Китая — это города, развивающиеся в том числе за счет своих двойников-невидимок: трущобных окраин, гетто спальных районов, мигрантских пригородов и т. д. Благодаря советскому наследию мы пока слабо представляем себе, что такое резкая пространственная сегрегация. Она наполнила повседневную жизнь больших городов ощущением отчетливого присутствия иного, Чужого (хорошо проиллюстрированным в фильме «Девятый район»). В том же Мумбае при нынешних темпах роста к 2050 г. будет жить 36 млн. человек (пока это шестой город по численности населения в мире, но в недалеком будущем он выйдет на первое место). Уже сейчас примерно треть его населения живет в трущобах; на шестьсот человек приходится одно туалетное сиденье [Swaminathan, Goyal, 2006].

Модернистский урбанизм инвестирует в небоскребы и хайвэи, левацкий урбанизм — в электрификацию трущоб, системы общественного транспорта и развитие локальных сообществ. Сама по себе идея абсолютной и самостоятельной ценности малых городских сообществ — не новость. (Отсюда интерес географов и урбанистов к вернакулярным районам [Пузанов, 2013].) Но левый урбанизм сделал эту ценность градостроительным императивом.

Здесь показательна история падения уже упомянутого Роберта Мозеса. Когда стало известно, что для строительства спроектированного им шоссе нужно практически полностью снести один из районов Гринвич-Виллиджа, журналист Джейн Джекобс

подняла мощную общественную кампанию, превратив публичное пространство Нью-Йорка в арену яростной борьбы с планами мэрии. И дело было не в сохранении исторического облика города, вернее, не только в нем. Дело было в разрушении социальных связей, локальных сообществ, того, что позволяет противостоять тяжелой поступи модернистского урбанизма. И Джекобс побеждает в поединке с Мозесом. Это один из самых значимых поворотных пунктов в истории Нью-Йорка (следующий такой поворот произойдет гораздо позже с приходом в мэрию Р. Джулиани).

История городской политики XX в. — это история противостояния двух языков описания города (и связанных с ними сценариев развития): высокого и левацкого урбанизма. К 1960–1970-м годам эти две модели уже сказали друг другу все, что могли. Не то что бы они полностью исчерпали себя, просто их ресурсов оказалось явно недостаточно для понимания того, что происходило с городами. Так на авансцене появилась третья, самая молодая на сегодняшний день городская идеология — назовем ее *хипстерским урбанизмом*.

Модернисты инвестируют в небоскребы и шоссе, левые — в доступное жилье и общественный транспорт, хипстеры — в велодорожки, парки и пешеходные зоны. Хипстерский урбанизм превращает городское пространство в подмостки, город — больше не машина, а сцена. (Машина совсем иного рода: *машина представления, машина удовольствия*.) Он раскрашивает в яркие цвета заборы и устанавливает на каждом углу контейнеры для сортировки мусора. Заброшенные промзоны становятся очагами общественной жизни. Постиндустриальные трущобы оккупируются представителями креативного класса и образуют новый творческий кластер. Несмотря на тщательно культивируемую идеологию livability, это история не про жилье, но и не про рабочие места — это, скорее, про те пространства, где люди могут встречаться и общаться друг с другом (от дворов до центральных парков). Кредо хипстерского урбанизма точно выразил датский архитектор Ян Гейл: «Не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе — спросите, сколько получают от этого удовольствие». И дальше по тексту: «город должен быть как хорошая вечеринка — если я возвращаюсь домой до трех часов ночи, значит, он не удался» [Gehl, 2010]. Город — это весело. Город — это ярко. Город — это непрерывная череда событий. Город — это там, где вам есть куда пойти. Город — это Istanbul the cool и I AmSterdam.

Если сцена — метафора города, то публичное пространство (прежде всего, парк, площадь, бульвар и пешеходная улица) — его *метонимия*. Это те места, которые, будучи частью города, в наибольшей степени обладают его конститутивными признаками. Здесь обнаруживается любопытное различие концептуализаций публичного пространства в языках хипстерского и левого

урбанизма. Левый урбанизм кодирует публичное пространство в логике Ханны Арендт — как пространство общественное [Arendt, 2006]. Общественным пространством является любое пространство, в котором сообщество дано самому себе: члены данной общности собираются там для обсуждения вопросов общей судьбы, в нем принимаются решения, формируется общая идентичность, а как следствие — идентичность с самим местом. (Не будем проводить напрашивающуюся параллель с Майданом.) Двор может быть общественным пространством локального сообщества так же, как агора — общественным пространством древнегреческого полиса. Чистопрудный бульвар становится общественным пространством лишь в тот момент, когда его захватывают активисты «ОккупайАбай». Нет коммуникации, идентичности и сообщества — нет общественного пространства. Нет общественных пространств — нет политики в ее исходном значении.

Принципиально иначе публичное пространство кодируется в языке хипстерского урбанизма. Здесь оно именно публичное — пространство, где люди даны друг другу не как члены сообщества, а как наблюдатели. Такая концептуализация предполагает, что публичным его делает возможность находиться в ситуации соприсутствия с незнакомыми людьми, не вступая с ними в коммуникацию. (Лучшее теоретическое обоснование такой концептуализации мы найдем в известной работе «Поведение в публичных местах» И. Гофмана [Goffman, 1963][1].) Отсюда ценность третьих мест для этой городской идеологии. Неслучайно символом хипстерского урбанизма в Москве становятся Парк Горького и «Стрелка», а в Петербурге — Новая Голландия и лофт «Этажи».

Подчеркнем: данный способ мышления и говорения о городе не имеет практически никакого отношения к тем, кого называют хипстерами (хотя они и оказываются сегодня главными потребителями изменений, производимых в городской среде хипстерским урбанизмом). Так же и в Европе запрос на город как сцену формировался архитекторами и урбанистами, т. е. режиссерами, а не зрителями. Яркий пример — Стамбул. Для жителей благоустроенных европейских городов он на некоторое время превратился в Мекку хипстерского туризма. Официальная городская риторика («Стамбул — это мост, место встречи Европы и Азии, старого и нового, истории и современности» [Yanik, 2009, p. 531–549]) уступила привнесенной риторике панъевропейского хипстерского урбанизма: «Istanbul the cool!». Однако в июне 2013-го протест против вырубки деревьев в парке Гези практически перерос в «турецкую

1 Перевод первой главы этой работы читайте в этом номере.

весну». Публичные пространства (парк Гези и площадь Таксим) стремительно перекодировались в пространства общественные — места, в которых выковывается идентичность городских сообществ.

Это различие между публичным и общественным пространством плохо разработано в теории, но принципиально в данном конкретном случае. Хипстерский урбанизм — идеология публики и публичности [Gehl, Svarre, 2013], тогда как сообщества и самоорганизация — давний фетиш левого урбанизма.

-2. Что не так с анализом городских идеологий?

Сделаем следующий шаг. Приведенный выше способ анализа одновременно удобен и ущербен. Удобен, потому что позволяет многое объяснить в современных тенденциях развития больших городов. В случае Москвы он проясняет кардинальное изменение роли общественных пространств (обновление Парка Горького, развитие парка Сокольники, реконструкцию ВДНХ), превращение центральных улиц в пешеходные зоны, а центральных дворов — в сценические площадки, увеличение числа общегородских мероприятий, проекты велосипедизации отдельных административных округов, появление новой городской эстетики и новых нарративов о городе. Однако этот аналитический инструментарий принципиально оставляет не проясненной связь между языком и пространством. Анализ городских идеологий трусливо избегает вопроса о том, как одно связано с другим.

Из приведенного выше нарратива следует, что есть город (как пространство, инфраструктура, совокупность живых и неживых объектов) и есть некоторое повествование о нем. Читателю предлагается самому расставить акценты. Представим себе шкалу, на одном конце которой утверждение «город — объективная реальность, данная нам в ощущениях и повествованиях», а на другом — «язык обладает самостоятельным существованием и все, что мы видим в городском пространстве, — на самом деле проекция той или иной идеологии». Это симметричные аксиомы. И симметричные заблуждения.

Первое аксиоматическое заблуждение принадлежит градостроителям, планировщикам и урбанистам. Оно приписывает онтологический статус (и каузальную силу) исключительно объектам городского пространства: каков город, таковы и идеологии. А потому Петербург сам диктует логику петербургских нарративов подобно тому, как некоторые объективные особенности Москвы заставляют говорить о ней именно так и не иначе. При некоторой степени самоуверенности можно утверждать, что не только городские

идеологии, но и теории города — производные от объективных городских особенностей. Почему чикагская школа прибегает к языку городской экологии, а лос-анджелесская — к языку марксизма? Ответ должен быть найден в специфике Чикаго и Лос-Анджелеса соответствующих исторических периодов.

Сильный урбанистический нарратив нацелен на лишение городских идеологий каузальной силы. Идеологии — это, конечно, удобный объект исследования, но город порождает их куда в большей степени, чем они — город. Иными словами, метафоры городского пространства — не более чем его, пространства, репрезентации. При этом само пространство (понятое расширительно, как вся совокупность объектов и территорий) полагается единственным источником причинности. Меняется город — меняются языки его описания. Слабость такого теоретического хода бросается в глаза. Городские идеологии космополитичны и не прикованы цепями ни к историческим периодам, ни к местам своего обитания. Хипстерский урбанизм находит в Москве больше отклика, чем в Петербурге, но это не мешает ему, например, пускать корни в Самаре и торжествовать в Перми. Должны ли мы объяснить это явление некоторым мистическим избирательным сродством Перми, Москвы и Самары? А как быть со Стамбулом и Копенгагеном? Отсюда один шаг до абсурдной идеи ложного сознания больших городов: «Пермь — это Пермь, а Москва — это Москва, но в силу парадоксальной политической аберрации Москва начинает говорить и мыслить себя как Пермь». Соответственно, требуется настоящий специалист, чтобы объяснить городу его объективную природу и предложить подходящую ему идентичность и идеологию.

Теперь сместимся на одно деление нашей воображаемой шкалы — сделаем шаг к языку. Это движение от сильного урбанистического объяснения к сильному социологическому. Социологизм действует чуть тоньше. Действительно, есть город, и есть языки его описания. Но языки производятся людьми, живущими в этом городе. Появляются новые люди — появляются новые языки. А значит, городское пространство само по себе не обладает каузальной силой, но и идеологии ею не обладают. Городские повествования — не репрезентации, а результаты *аккумуляции интересов* разных борющихся друг с другом групп интересов. Социологизм объясняет смену доминирующих идеологий и изменение пространства одним и тем же стандартным набором факторов: от трансформации социальной структуры до смены элит. В логике социологизма: сначала появляется креативный класс, затем он из класса-в-себе становится классом-для-себя, потом его интересы и картина мира складываются в новую метафорику города, а уже затем чуткие к его чаяниям и риторике элиты

начинают использовать эту метафорику в политической борьбе, соответствующим образом преобразуя городское пространство.

К сожалению, такая логика — столь дорогая сердцу социологов — плохо работает на российском материале. Потому что значительная часть политических решений принимается не в соответствии с чьими-то скрытыми интересами, а просто потому что «что-то должно быть сказано [на планерке]» и «что-то должно быть сделано [по итогам года]». Машина городского управления — не столько арена столкновения элит, сколько самореферентная операционная система, базовая операция которой — решение-с-последующей-реализацией. Решение же требует языка. Последние пять лет мы были свидетелями того, как язык, пользуясь выражением Никласа Лумана, «производил собственные индикаторы реальности» [Луман, 2005]. Неслучайно хипстерский урбанизм появился в России существенно раньше самих хипстеров и выражающих их интересы элит. Нет решительно никакой гомологии в изменении социальной структуры города и смене доминирующего языка его описания. (Хотя прозорливый наблюдатель всегда сможет проследить связь между сменой идеологии и сменой элиты. Проблема кроется как раз в слове всегда.)

Должны ли мы, следовательно, порвать с социологизмом и урбаницизмом и решительно перейти на темную сторону — сторону языка? Заявить, что ни политические элиты, ни, тем более, объективные особенности города не являются источниками причинности? Что языки описания существуют независимо и от объекта описаний, и от тех, кто на них говорит? Что городское пространство — пассивный проекционный экран, tabula rasa (или, в чуть смягченной версии, глыба мрамора с прожилками, ограничивающими произвол скульптора), на которых обитающие в горнем мире языки оставляют свои письмена? В отличие от социологизма и урбаницизма филологизм мыслит язык в духе Уильяма Берроуза: как вирус, завладевающий мозгом управленцев, навязывающий им свою систему различений и тем самым предопределяющий все последующие изменения.

Здесь я вынужден признаться в тайной (или вполне явной [Вахштайн, 2013]) симпатии к такому теоретическому решению. Оно представляется мне наиболее чистым. Борьба метафор за право менять пространство — исключительно интересный предмет исследования. К примеру, до недавнего времени городские парки финансировались департаментом по количеству зеленых насаждений на единицу площади. Действовала функционалистская метафора «парки суть зеленые легкие города». С приходом хипстерского урбанизма в финансировании парков стало учитываться число мероприятий, организованных на их территории,

число посетителей и ряд других показателей, связанных с иной метафорой: «парки суть городские подмостки». Экологическая метафорика сменилась сценической, что повлекло за собой вполне материальные следствия.

Увы, приписывание исключительного онтологического статуса языку так же неудовлетворительно, как и два других сильных нарратива. На первый взгляд, данный теоретический ход связан с филологической интервенцией в урбанистику. Исследователи городских текстов, отстаивающие вслед за Ю. М. Лотманом приоритет означаемого над означающим, использовали аппарат семиотики, чтобы заместить город «городом»: Петербург — «Петербургом Достоевского», Москву — «Москвой Гиляровского», а Афины — «Афинским текстом». Для этого им потребовалось всего несколько операций разотождествления и одна операция замещения. Чтобы такая логика приобрела убедительность, нужно отделить конкретный физический город от города абстрактного («мы не говорим о городах вообще, мы говорим о Нью-Йорке»), город в конкретный исторический период от того же самого города сегодня («мы не говорим о сегодняшнем Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке середины XX в.») и, наконец, город как пространство от его репрезентаций («мы не говорим о реальном Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке Сэлинджера»). После чего, если получившийся исследовательский нарратив достаточно убедителен, его выводы распространяются на все, что вначале было вынесено за скобки: «нетрудно заметить, что обнаруженные нами связи сохраняют свою релевантность для многих современных мегаполисов». Оставим подобный тип рассуждения на совести филологов и историков. Однако и для социолога он обладает немалой привлекательностью в силу одного аксиоматического допущения, созвучного эпистемологии социальных наук.

Рефлексивные исследователи знают, что результаты научного познания детерминированы выбранным теоретическим языком. Язык — условие возможности всякого знания об объекте. Он диктует исследовательскую оптику: мы видим то, что видим, потому что описываем это так, как описываем. Все, что мы знаем о городе, мы знаем лишь постольку, поскольку выбираем некоторый способ мышления и говорения о нем в силу априорной концептуализации города как объекта исследования. Отсюда естественный переход от рефлексии наших собственных теоретических языков описания («город как совокупность социальных функций», «город как ансамбль рутинных практик») к анализу языков *самоописания* города («машина неравенства», «машина роста», «сцена» и проч.). Именно с таким теоретическим ходом (делегирование объекту некоторых свойств наших собственных аналитических нарративов) связано пристальное внимание социолога к метафорам в городских самоописаниях.

Рядоположение научных теорий города и городских идеологий превращает мэрию в подобие исследовательского института, главная задача которого — втиснуть описываемый объект в заданную базовой метафорой систему различений. Такое рядоположение — родовое проклятье интерпретативного политического анализа (IPA). Если здания, инфраструктура, ландшафт, социальные группы, элиты и интересы не обладают достаточной каузальной силой, чтобы объяснить происходящие в городском пространстве изменения, с чего мы взяли, что это могут сделать метафоры? Не слишком ли тогда самонадеянно с нашей стороны заявлять: языки описания не репрезентируют город, а создают его? Если мы за всю историю нашей дисциплины так и не смогли собрать город из людей и зданий, ресурсов и инфраструктуры, практик и функций, почему мы решили, что сможем собрать его из метафор и образов?

Тогда, может быть, нам стоит вообще отказаться от сильных объяснений, предлагаемых социологизмом, урбаницизмом или филологизмом, и сместиться к центру шкалы, найти точку равновесия между приписыванием онтологического статуса только лишь городскому пространству или только языку его описания? Почему бы не приписать его сразу обоим? Заявить, что отношения между языком и пространством — это отношения взаимного конституирования, вроде рисующих рук Морица Эшера? (Автор этих строк самым постыдным образом поддался такому искушению, в чем сейчас искренне раскаивается.) Но слабые объяснения ничуть не лучше сильных. Потому что рисующих рук куда больше. Тяжело мыслить фильм как результат активного взаимодействия и взаимного конституирования проекционного луча и белого экрана. Почему не режиссера, актера и зрителей? Почему не продюсера и директора кинотеатра? А как быть с афишами, стульями и проектором? Как только мы от радикальных и неудовлетворительных в своем редукционизме сильных объяснений переходим к слабым, мы оказываемся в ситуации дуалистического объяснения, где равным онтологическим статусом обладают слова и вещи — Монтекки и Капулетти философии.

-1. Проклятье городского Левиафана

Чтобы сделать следующий шаг, нам сначала придется провести работу над ошибками. Ошибка же состоит в том, что мы изначально назвали некоторое множество объектов «*x*» — городом, а некоторое множество объектов «*y*» — языком. После чего задача была сведена нами к поиску отношения между элементами двух множеств.

Три из описанных выше теоретических стратегий априорным образом наделяют один из элементов одного из множеств каузальной

силой. Социологистские модели мышления признают за элитами (*x*) или активными социальными группами (*x′*) способность формировать городскую идеологию (подмножество *y′*). При этом, что любопытно, они признаются под множеством «*X*» (город), которому не принадлежит сама формируемая ими идеология. Таким образом, социологизм ведет войну на два фронта: против спациолизма и урбаницизма за право социальных феноменов «*x*» доминировать над остальными элементами множества «*X*», и против филологизма и семиотизма — за монополию феноменов «*x*» на онтологический статус.

Присвоение онтологического статуса языкам устроено симметричным образом. Мы сначала выделяем в множестве языковых феноменов привилегированный элемент — метафору (*y′*), после чего наделяем ее способностью подчинять себе множество «*X*» при посредничестве городских элит (*x′*). Четвертая стратегия устанавливает между элементами двух множеств отношения круговой поруки: городские активисты, инфраструктура, политические элиты, с одной стороны, и метафоры, мифы и идеологемы — с другой, каким-то диалектическим образом определяют друг с друга. Дело осложняется семиотическим характером элементов множества «*Y*». Метафора сама имеет вид «*X* как *Z*» (или «*X* как *x*» в случае описанных нами выше метонимий). В результате вопрос об отношении между городом и его метафорическим описанием превращается в вопрос об отношении между городом и городом как... Наблюдается головокружительное умножение городов.

Дальше — хуже. Мы вынуждены задаться вопросом: какие именно теоретические языки позволяют нам установить отношение между двумя множествами. И вот множеств уже три. К городам («*X*») и их языкам («*Y*») добавляется множество концептов («*C*»), позволяющих нам выражать их отношение. Концепты тоже имеют метафорическую природу. И вот перед нами новая проблема соотношения языков *самоописания* и *метаописания* города [Латур, 2012, с. 113–143].

Интересно, что язык социологической теории легко допускает включение людей, социальных групп и политических элит в множество «город» (как если бы город был политическим телом, Левиафаном, собранным из человеческих тел и их отношений), но сопротивляется включению в это множество метафор, метонимий и идеологий. Города не состоят из слов! Мы, скорее, согласимся с тем, что элементы языка подчиняют себе разум сити-менеджеров, форматируя при их посредничестве городское пространство, чем с тем, что между двумя множествами нет жесткой границы. Просто потому, что люди и инфраструктура существуют *в пространстве*, а метафоры

и идеологии — *в языке*. И никакой лингвистический поворот не в силах изгнать из социологической теории этого картезианского демона.

Защитники пространства предпочитают видеть в языке кривое зеркало неколебимых в своей фактичности городских реалий. Фанаты языка с легкостью демонстрируют, что все эти наблюдаемые городские реалии — не более чем материализовавшиеся фантомы, реифицированные мифологемы той или иной идеологии. (Чем был бы Парк Горького без хипстерского урбанизма?) Социологисты лелеют надежду заместить неподлинное городское пространство подлинным пространством социальных отношений, социальных групп, политических элит и локальных сообществ, выражением интересов которых, собственно, и являются идеологии. Наконец, оппортунисты готовы уравнять в правах язык и пространство города, но при условии, что граница между ними останется на месте.

Итак, мы начали с эмпирической иллюстрации — зарождения идеологии хипстерского урбанизма, затем сделали шаг от идеологий, отвечающих на вопрос, что такое город, к теориям, отвечающим на вопрос, какова связь между городом, и ответами на вопрос, что такое город. Обнаружив общее ограничение четырех теоретических решений (априорное различение языка и пространства), мы вплотную подошли к точке «*0*», но подошли со стороны языка. Все это время мы не покидали границ языкового гетто, двигаясь от анализа идеологий и метафор к анализу теоретических решений — от самоописаний к метаописаниям. Возможно, ход от философии пространства будет более продуктивным.

3. Ньютон, Лейбниц, Кант и социальная топология

Что мы имеем в виду, когда говорим «городское пространство»? Что стоит за априорным (для всех четырех рассмотренных выше решений) утверждением: города находятся в пространстве. Языки — нет. И что вообще значит находиться *в* пространстве?

Бенно Верлен, географ, перешедший на сторону социологов, описывает три философские интуиции пространства: ньютоновско-декартовскую, лейбницевскую и кантовскую. Абсолютная или субстантивистская интуиция пространства выражена в следующих концептуализациях.

«*Ибо идея протяженности, которой, как мы понимаем, обладает всякое данное пространство, тождественна идее телесной субстанции*. (Декарт)

Абсолютное пространство по своей собственной природе, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается одним и тем же и неподвижным. Абсолютное пространство — это сенсориум Бога. (Ньютон)» [Верлен, 2002, с. 33].

Только в языках Декарта и Ньютона город может находиться «в» пространстве — одно легко отмысливается от другого. Пространство

города в такой метафорике — это аквариум, заполненный городской средой, в котором сосуществуют живые (горожане) и неживые (инфраструктура) объекты. Субстантивистская метафора пространства-контейнера — одна из самых живучих в социальных науках (видимо, потому что хорошо согласуется со здравым смыслом), но она же — самая критикуемая. «Философские споры, — заключает Верлен, — привели к выводу о том, что нет никакой возможности поддерживать субстантивную идею пространства. Не углубляясь в подробности этих споров, о которых можно узнать из других источников ([Smart, 1964, Alexander, 1956, Nerlich, 1976, Sklar, 1974, Mellor, 1981]), выделим один важный момент: если бы „пространство“ было объектом, т. е. пригодным для исследования объектом, тогда мы могли бы указать на место пространства в физическом мире. Но это невозможно. Пространство не существует как материальный объект...» [Верлен, 2002, с. 33].

Другая интуиция пространства связана с именем Канта.

«*Пространство не является эмпирическим понятием (Begriff), полученным в результате абстрагирования от внешнего опыта.... Пространство — это необходимое представление и, следовательно, оно априорно*» [Верлен, 2002, с. 33].

Иными словами, пространство — трансцендентальная категория, позволяющая субъекту видеть этот мир как пространственный. Пространство не в мире, но и не в разуме, оно — часть тех очков, которые даны нам априорно и которые делают возможным конституирование мира. Город не находится «в» пространстве, но является пространственным объектом настолько, насколько мы — воспринимающие город как совокупность его созерцаемых элементов — являемся трансцендентальными субъектами. Верлен называет эту идею эпистемологической интуицией пространства: пространство нельзя отмыслить от познающего субъекта.

Любопытно, что Кант — ключевая фигура как для географической, так и для социологической теории. Однако в версии Верлена вся позитивистская география, нацеленная на поиск пространственных законов, является не более чем ошибкой интерпретации кантовского наследия: «Для обозначения географии Кант использовал слово „хорографическая“, т. е. описательная. Хетнер [Hettner, 1927] преобразовал это слово в «хорологическая», т. е. относящаяся более к объяснению, нежели к описанию, а по Канту, объяснительная сила была главной отличительной чертой науки. «Ошибка» Хетнера дала возможность представить географию как науку — науку о пространстве. Берри, Бунге, Бартельс и другие пошли этим тупиковым путем до конца. Бартельс [Bartels, 1968], наиболее известный немецкий географ последних десятилетий, попытался в итоге сформулировать в качестве цели географии

открытие пространственных законов. При этом он вернулся назад, к субстантивному понятию пространства» [Верлен, 2002, с. 34].

Социологическая теория поступила с кантовским наследием сходным образом. Правда, мы традиционно полагаем этот ход не ошибкой в интерпретации Канта, а сокрушительной теоретической инновацией Э. Дюркгейма: априорные категории, такие, как пространство и время, были признаны социальными [Дюркгейм, 1980]. Социализация трансцендентального пространства-как-представления и приводит в итоге к утверждению социологистской логики в мышлении о городе (см. выше). Куда тоньше задачу импорта кантовской интуиции пространства в социологию решил Георг Зиммель [Simmel, 1995], но это решение, переосмысленное и развитое А. Ф. Филипповым [2008], уведет нас в сторону от поставленной цели. Ограничимся лишь одним замечанием. По мере развития социологической теории трансцендентальный субъект становится наблюдателем, созерцание — совокупностью операций наблюдения. Однако какие бы мутации ни претерпевала кантовская интуиция пространства в ходе ее социологизации, неразрывной остается связь пространства и наблюдения; пространство по-прежнему не может быть отмыслено от наблюдающего субъекта. Нет наблюдения — нет пространства.

Наконец, третья интуиция пространства приписывается Лейбницу.

«*Я полагаю, что пространство — это порядок сосуществования. Пространство — вообще ничто без тел, но оно есть возможность их размещения*. (Лейбниц)» [Верлен, 2002, с. 33].

Именно за эту концептуализацию хватается Бенно Верлен в надежде подвести прочное философское основание под современную социальную географию: «...пространство не является ни объектом, ни a priori, но системой координат для действий» [Верлен, 2002, с. 34]. Верлен пытается сделать одновременно «прививку лейбницеанства» и инъекцию социологической теории действия своим коллегам-географам (чем заслуживает одобрение Энтони Гидденса [Гидденс, 2002]), забывая, что Лейбниц, мягко говоря, не самый удобный для географии философ. Его интуиция пространства как порядка отношений — целиком *топологическая*. Будучи, по сути, отцом-основателем топологии (названной им analysis situs, анализ положений), Лейбниц предлагает радикально не-физическую и не-географическую модель мышления о пространстве. В этой модели пространство лишается и онтологического статуса (оно не есть), и укорененности в созерцании/наблюдении (через него не смотрят), но признается целиком реляционной характеристикой — характеристикой отношения, соположения, сосуществования тел. Так же как для Канта, пространство не может

быть отмыслено от трансцендентального субъекта, для Лейбница оно не может быть помыслено пустым, лишенным объектов (поскольку само является лишь порядком их сосуществования). Следовательно, город — возвращаясь к предмету нашего интереса — не находится «в» пространстве, но является топологическим объектом, чья пространственность должна быть концептуализирована как порядок отношений его с другими объектами и порядок отношений составляющих его элементов.

Всплеск интереса к Лейбницу в социологии конца XX — начала XXI в. отчасти связан с рождением акторно-сетевой теории (ANT). Опустим все то, что составило ей славу — чаще всего дурную — среди современных исследователей: крестовый поход против социологизма, запоздалую реабилитацию Габриэля Тарда и попытку ре-онтологизации социологического теоретизирования. Сфокусируемся на одном, на первый взгляд, побочном следствии усилий Джона Ло (ближайшего соратника Брюно Латура и ключевого теоретика пространства в акторно-сетевой теории) — на развитии социальной топологии.

Мы уже показали, что выражение «город в пространстве» не выдерживает философской критики. Но что мы имеем в виду, когда говорим «город — пространственный объект»? Что вообще значит быть пространственным объектом? «У акторно-сетевой теории, — отвечает Джон Ло, — в исходной ее форме есть предельно конкретный ответ на этот вопрос. Объекты представляют собой *эффект некоторых устойчивых множеств или сетей отношений*. Наше фундаментальное допущение таково: объекты сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними устойчивы и не изменяют своей формы» [Ло, 2006, с. 225].

Рассуждения Ло о неизменности и изменяемости объекта сродни рассуждениям де Соссюра об изменчивости и неизменности знака [Соссюр, 2006, с. 81–85]. Ло, как и де Соссюр, подчеркивает связь свойства изменчивости/неизменности объекта (знака) с дискретностью/непрерывностью его существования. Объект существует дискретно и обособленно лишь благодаря непрерывности связей с другими объектами. «Например, корабль, — пишет Ло, — может быть представлен в виде сети — сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемеридами, астролябиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами и звездами, также может быть рассмотрена как сеть. Далее, при еще более отстраненном анализе, вся португальская имперская система в целом, с ее портами и пакгаузами, кораблями, военными диспозициями, рынками и купцами может быть описана в тех же категориях» [Ло, 2006, с. 224].

В данном описании все предметы исследования рассматриваются как объекты: корабль, навигационная система, португальская

империя. Объектами их делают устойчивые связи и отношения друг с другом. Особый акцент на устойчивости: «Штурманы, противники-арабы, ветра и течения, команда, складские помещения, орудия: если эта сеть сохраняет устойчивость, корабль остается кораблем, он не тонет, не превращается в щепки, напоровшись на тропический риф, не оказывается захваченным пиратами и уведенным в Аравийское море. Он не пропадает, не теряется, до тех пор, пока команда не сломлена болезнями или голодом. Корабль определяется своими отношениями с другими объектами и акторно-сетевой анализ направлен на исследование стратегий, которые производят (и, в свою очередь, произведены) этой *объект*ностью, синтаксисом или дискурсом, определяющими место корабля в сети отношений» [Ло, 2006, с. 227]. Разрыв сети отношений кладет конец дискретной объектности.

Сеть отношений трактуется Ло как топологическая система, определенная форма пространственности. Пространство (благодаря Лейбницу) — это порядок объектов, объекты — суть пересечения отношений. Изменение отношений приводит не только к изменениям самих объектов, но и к изменениям форм пространственности.

Основные положения социальной топологии таковы: «Во-первых, — пишет Ло, — я настаиваю на том, что производство объектов...имеет пространственные следствия; и, далее, что пространство не самоочевидно и не единично, но имеются *множественные формы пространственности*. Во-вторых, я предполагаю, что использование объектов само создает *пространственные условия возможности и невозможности*. Пространственности порождаются и приводятся в действие расположенными в них объектами — именно этим определяются границы возможного. (Следуя первому утверждению, стоит упомянуть, что пространственные возможности по своему характеру также множественны.) Существуют различные формы пространственности; те, о которых говорим мы, включают в себя регионы, сети и потоки. В-третьих, я предполагаю, что эти *пространственности и объекты, которые заполняют и создают их, плохо совместимы, т. е. находятся в напряженных отношениях*» [Ло, 2006, с. 225].

Вернемся к примеру с португальским галеоном. Как объект, корабль пространственно или топологически множествен: «Он занимает — а также преобразует — два типа пространства. Географическое и семиотическое (сетевое)». Он не изменен и сохраняется в каждой из форм пространства: физически — в географическом пространстве, функционально или синтаксически — в семиотическом (сетевом) пространстве. Двигается он только в географическом пространстве. Напротив, в пространстве сетей он неподвижен, никакого изменения отношений между компонентами не происходит. (А если происходит, значит, что-то не так, значит это уже другой объект.) Именно неподвижность в сетевом пространстве

делает возможным его перемещение в пространстве географическом, позволяя переплывать из Калькутты в Лиссабон с грузом специй. Перемещение из точки *A* в точку *B* некоторого объекта происходит благодаря устойчивости отношений между различными элементами сети, в которой этот объект находится. Если произойдет смещение в пространстве сетей (то есть, если изменятся конституирующие объект отношения), корабль просто перестанет быть «кораблем *X* с грузом *Y*, следующим курсом *Z*», а станет чем-то иным: обломками корабля, «летучим голландцем» или просто деревом для костра.

Такое смещение в топологии называется катастрофой. Можно указать на две характеристики катастрофы: разрыв непрерывности формы (дисконтинуальность) и необратимость. Тополог Рене Том проиллюстрировал это следующим примером: «Если форма *A* — лист бумаги и если я его сминаю, то есть придаю ему вид *B*, *A* может быть непрерывно деформирован в *B* и наоборот *B* в *A*, если листок разгладить. *A* и *B* — два вида одного объекта. Но если я разрываю листок, т. е. придаю ему вид *C*, я получаю новый объект, поскольку переход *A* в *C* необратим» [Том, 2002]. Разрыв формы (на языке топологии — утрата гомеоморфизма) дает начало новой форме, происходит морфогенез. В терминах Ло: смещение положения корабля в сетевом пространстве означает разрыв его сетевой формы, переход становится необратимым и корабль перестает быть кораблем, становясь чем-то иным.

Объект остается тождественным себе, пока (при всех трансформациях) сохраняет некое ядро устойчивых отношений. Что происходит, если объект, потеряв ядро устойчивых отношений, трансформируется до неузнаваемости? Разрыв формы. Однако то, что является разрывом формы в пространстве сетей, не является им в иной топологической системе, описанной Джоном Ло, в *пространстве потоков*. В этом пространстве изменение отношений — необходимое условие конституирования объекта.

Теперь посмотрим, что эта логика дает для понимания города.

2. Метагорода

Город — топологически множественный объект, существующий одновременно в сетевом и евклидовом пространстве (более корректно, но менее грамотно: «имеющий две формы пространственности»). В отличие от португальского галеона он не перемещается в физическом пространстве (если только речь не идет о проекте номадического «кочующего города», поразившем воображение некоторых утопически настроенных архитекторов). Но не перемещается он и в пространстве сетей.

Город остается собой до тех пор, пока сохраняется неизменным устойчивое ядро отношений. Задача каждого конкретного

исследования — идентификация такого ядра: того, что делает город *X* городом *X*. Его контуры в географическом пространстве могут меняться, но эти изменения вовсе необязательно связаны с изменением конститутивного ядра. Присоединение Новой Москвы радикально трансформировало город как географический объект, но ядро формирующих его отношений осталось неизменным. Это все еще Москва. Бомбардировка Роттердама прекратила существование Роттердама, разрушив ядро формирующих его отношений — возник новый Роттердам, который со старым Роттердамом связывает только название. Другой пример: город на севере Швеции вынужден мигрировать с места на место, следуя за разработкой месторождения (которое проходило прямо под домами жителей, вследствие чего домам пришлось подвинуться). Но эта миграция всего города и его инфраструктуры не изменила конститутивного ядра отношений. А вот если бы шахта была закрыта и горняки, составляющие большинство городского населения, вынуждены были покинуть насиженное место, город, формально сохранивший свое название и положение в географическом пространстве, стал бы чем-то иным. Произошло бы негомеоморфное преобразование топологической формы города (морфогенез). Города-призраки хорошо иллюстрируют это явление.

Город как сетевой объект конституируется одновременно отношениями внутренними и внешними. Внутренние отношения — это отношения его элементов. Внешние отношения — это отношения с другими объектами, вне пределов его географической локации. Чисто гипотетически можно различить города, конституированные в большей степени внутренними и в большей степени внешними отношениями. Вторые, — как правило, крупные столичные мегаполисы, непрерывно меняющиеся внутри, но сохраняющие свое положение в отношениях с другими городами, регионами, центрами силы (а, следовательно, сохраняющие устойчивое ядро отношений). Шереметьево, Домодедово и Внуково делают Москву Москвой больше, чем многие объекты, географически расположенные на ее территории. Отсюда любопытный феномен экстерриториальности: то, что делает город *X* городом *X*, может не находиться в его географических границах. А, значит, внутри такой город способен непрерывно меняться, оставаясь при этом собой.

Однако как быть с городами, которые на первый взгляд не имеют выраженного ядра устойчивых отношений — ни внутренних, ни внешних? С городами, которые ежечасно пересобираются, смещаясь в сетевом пространстве? Джон Ло говорит в этой связи о текучих объектах и пространстве потоков: «Каковы правила преобразования формы в этом пространстве? Каким образом объект сохраняет непрерывность формы в текучем мире?

- Во-первых, *ни одна конкретная структура отношений не является привилегированной*. Это означает, что текучие объекты сохраняют свою идентичность в процессе образования новых отношений: реконфигурации уже существующих элементов или добавления других. Однако отсюда следует весьма сильное утверждение — в пространстве потоков *изменение* необходимо для сохранения гомеоморфизма. Объекты, которые зафиксированы и стабильны, например, в пространстве сетей, оказываются сломанными в пространстве потоков. Они иные по отношению к нему.
- При этом не стоит забывать о непрерывности. Соответственно наш второй вывод состоит в том, что *отношения, формирующие объект в пространстве потоков, меняются, но не единовременно, а постепенно*. В пространстве изменчивости «топологический разрыв» и утрата целостности происходят не только в случае «застывания» объекта, прекращения всякого его изменения, но и в случае слишком масштабных его трансформаций, которые также разрушают гомеоморфизм. Если все демонтируется одновременно, результатом будет потеря непрерывности формы и идентичности объекта.
- В-третьих, из приведенного примера следует, что *граница изменчивого объекта не фиксирована*. Его части могут устраняться и замещаться другими. Невозможно начертать на песке линию (региональная метафора) и сказать, что гомеоморфизм зависит от этой границы. Действительно, установить жесткую фиксированную границу, значит разрушить изменчивый объект, поскольку гомеоморфизм в пространстве потоков зависит от подвижности границ. Ригидное установление «внутреннего» и «внешнего» чуждо текучей объектности.
- Однако, при всей их подвижности, *границы необходимы для существования объекта в пространстве потоков*. В какой-то момент различия пересиливают, гомеоморфизм утрачивается: объект изменяется слишком сильно… Или же растворяется в некоем большем объекте, прекращая свое самостоятельное существование. Таким образом, в пространстве потоков не действует принцип «все допустимо» (anything goes). Текучие объекты создаются практиками, весьма чувствительными к «разрыву», утрате непрерывности. Просто понимание разрыва здесь иное, нежели в сетевом или евклидовом пространстве» [Ло, 2006, с. 237].

Таким образом, мы можем говорить о текучих городах — городах в пространстве потоков — не в том случае, если конституирующее их ядро устойчивых отношений сформировано внешними связями, а в случае, если это ядро в принципе не является устойчивым,

но находится в процессе непрерывной (однако последовательной) трансформации. Такие города мы ранее предлагали называть метагородами. Впрочем, данная тема еще ждет своего часа.

1. Метафора как топологический объект

Радикальная лейбницевская реконцептуализация пространства фокусирует внимание на изменчивости города как объекта, его гомеоморфных и негомеоморфных преобразованиях, но пока не помогает решить задачу пересборки городского Левиафана: город для нас по-прежнему есть множество пространственных элементов *X* (тогда как городское пространство оказалось сведено к множеству отношений между этими элементами и элементами других множеств). Здесь необходимо задать социальной топологии вопрос: всякий ли объект пространства сетей находится также и в евклидовом пространстве? Иными словами, говорим ли мы исключительно об объектах одной топологической природы?

Начнем с простого примера. Кафе возле музея-заповедника «Коломенское» обладает устойчивым ядром отношений. Одни отношения описываются географически (кафе близко к парку и недалеко от метро), другие — связывают официантов, менеджеров, поваров и поставщиков продуктов (социологи предпочитают именовать такие отношениями организационными). Каждая дисциплина — география, социология, экономика, юриспруденция и даже химия (когда дело доходит до размораживания и готовки) — посредством своего собственного теоретического словаря выделяет и описывает одно подмножество релевантных отношений, игнорируя остальные. «Социологическое» кафе будет довольно сильно отличаться от «географического». При этом заведение сохраняет свою идентичность до тех пор, пока необходимый минимум связей остается неизменным. (Некоторые из этих отношений закреплены официально: в американских ресторанах, к примеру, повара не имеют права начинать приготовление блюда до тех пор, пока оно не заказано — практика готовки впрок автоматически превращает ресторан в кафетерий, что, конечно, не мешает поварам всячески обходить данное ограничение.) Отказ подавать бизнес-ланчи или смена основного поставщика, скорее всего, не приведут к смещению кафе в пространстве сетей, а вот взрыв бомбы на террасе, видимо, станет негомеоморфным преобразованием.

А как быть с курением? Табачный дым — весьма аморфный, но все же материальный объект. Его отсутствие или наличие — Ло сказал бы «включение» (enrollment) или «введение в действие» (enactment) [Law, 2004] — может стать значимым для конститутивного ядра данного конкретного заведения. Кафе, в которых на террасах все еще можно

курить после недавнего запрета на курение в общественных местах, существенно изменили свою целевую группу, ценовую политику и даже архитектурный облик — пришлось устранить внешние стены террасы, чтобы она формально стала частью улицы. Как выяснилось, «курящее» и «некурящее» кафе — это два топологически разных объекта.

Пойдем дальше. Как быть с музыкой? Если завтра в кафе у Коломенского вместо сборника «Romantic Collection» начнет играть сборник песен М. Круга? Кафе с «Владимирским централом» и без — это одно и то же кафе? И если нет, должны ли мы заключить, что песни Круга — материальные объекты, локализованные в евклидовом пространстве?

Пуристская версия социальной топологии, вероятно, запретит нам апеллировать к нематериальным сущностям как топологическим объектам. Все, что не находится в евклидовом пространстве, не существует и в пространстве сетей. Однако это идет вразрез со всей логикой акторно-сетевой теории, частью которой является социальная топология. Сетевая формула города состоит из элементов топологически разной природы. Некоторые из них — нематериальны (т. е. обладают пропиской в пространстве сетей, не будучи «гражданами» физического пространства). Знаки, образы, метафоры, нарративы — суть объекты сетевого пространства (узлы сети), так же как галеон, кафе или Парк Горького.

С такой интерпретацией могут поспорить даже самые радикальные латурианцы. И действительно, акторно-сетевая теория стояла у истоков социологии вещей и «поворота к материальному» в социальной теории. Латур, Ло и Каллон устранили различение между человеками и нечеловеками, показав, что морские гребешки [Callon, 1986, p. 196–229], микробы [Latour, 1988], дверной доводчик [Латур, 2006] и втулочный насос [Ло, 2006] разделяют с людьми свойство агентности, т. е. способность быть актантами, действующими лицами, конституентами социального мира. Этот обманный маневр (фокусировка на агентности вещей) скрыл под видом «поворота к материальному» куда более фундаментальный теоретический сдвиг: рядоположение материальных и нематериальных актантов. Потому что нечеловеки — это не только морские гребешки и втулочные насосы. Это также и «имперская идентичность», добавляющаяся к технологиям португальской колониальной экспансии [Law, 2004], и математические уравнения, действующие на рынке наряду с товарами и торговцами. Различение между людьми и материальными объектами с точки зрения социологической доксы устранить куда легче, чем различение между материальными и нематериальными актантами. Однако формула Блэка-Шоулза-Мертона в исследовании Д. Маккензи является действующим актантом, который приобретает все большую агентность на рынке опционов, пока не приводит его к обвалу (к негомеоморфному преобразованию) [Mackenzie, 2006].

У такой линии интерпретации есть основание в истории акторно-сетевой теории. Термин «актант» Брюно Латур заимствует у своего учителя А. Греймаса, главы Парижской школы семиотики. Недавнее исследование [Напреенко, 2013] показало этот переход: в какой момент Латур решает «опрокинуть семиотику в онтологию», распространив принципы семиотического анализа на объекты «по ту сторону текста». В этой новой онтологии что-то может быть признано существующим лишь по эффектам своего конститутивного действия (по силе и количеству связей с другими актантами); есть метафоры, которые существуют куда дольше некоторых людей. Онтологический статус — не априорная, а достижительная характеристика. Джон Ло предлагает изящную (топологическую) версию латуровской семиотики.

Итак, как топологически множественный объект город существует одновременно в нескольких пространствах. В пространстве сетей он неподвижен и относительно неизменен благодаря наличию устойчивого ядра конституирующих его отношений. В число этих отношений входят отношения между материальными и нематериальными объектами. Следовательно, такой фантом, как идентичность горожан может входить, а может не входить в устойчивую сетевую формулу города (быть или не быть частью идентичности города per se). То же касается и метафор. Метафоры «город как машина» или «город как сцена» могут конституировать отношения тождества и различия — быть или не быть конституентами устойчивого ядра отношений, делающих данный конкретный город данным конкретным городом. Поэтому да, города в прямом смысле слова *состоят из* метафор, концептов и образов в той же степени, что из людей, автомобилей и труб ЖКХ, поскольку все эти элементы — суть объекты сетевого (лейбницевского) пространства. В социальной топологии априорное различение между двумя множествами элементов *X* (город) и *Y* (язык) окончательно устраняется. Единственное, что имеет значение — это конститутивная сила элемента, его способность собирать» другие объекты.

0. Нет никакого «между»

Амбиционный замысел данного исследования провалился. На примере анатомии хипстерского урбанизма мы собирались вскрыть отношение между городским пространством и городской идеологией; но вскрытие показало, что никакого «между» не существует. Между языком и пространством нет зазора. Есть лишь две топологические системы, две формы пространственности города, одна из которых именуется физическим пространством

(порядок отношений между материальными объектами), а другая — сетевым или синтаксическим пространством (в котором между материальными и нематериальными объектами поддерживаются отношения, аналогичные отношениям синтаксиса). Сетевое пространство не сводится к языку. Материальные объекты сосуществуют в нем — находясь в отношениях тождества и различия — с нематериальными. В остальном же это радикально эмпирическая программа: что входит, а что не входит в конститутивное ядро отношений объекта (города) в каждом конкретном случае, требуется установить исследователю: где заканчивается метафора «город как сцена» и где начинается Парк Горького, где действует министр, а где — сам хипстерский урбанизм.

То же правило применимо и к соотношению теоретических/идеологических нарративов. Сам исследователь, его практики познания и система различений, которую он использует, — просто еще один ряд актантов, отношения с которыми могут быть, а могут и не быть конститутивными для объекта исследования. (И наоборот: отношения, конституирующие исследуемый объект, — вовсе необязательно те же самые отношения, которые конституируют его аналитическое описание.) Мы видели эту автономию на примере разрыва между городскими идеологиями и теоретическими логиками, отвечающими на вопрос об отношениях идеологии и города. Можно, конечно, обнаружить избирательное сродство между социологизмом и левым урбанизмом, филологизмом и урбанизмом хипстерским, но этот поиск не продвинется дальше простых аналогий — их отношения не являются конститутивными ни для одного из объектов.

Таким образом, на смену монизму трех сильных объяснений (атрибутирующих каузальность только одному источнику — языку, физическому пространству или пространству социальному) и дуализму оппортунистического решения (язык конституирует пространство, пространство конституирует язык) приходит радикальный плюрализм. Тот или иной объект приобретает «твердость» и онтологический статус исключительно в отношениях с другими объектами. Язык больше не надстраивается над миром в качестве его пассивного отражения или, напротив, активного источника изменений; язык — его неотъемлемая часть. Мир уплощается (отсюда онтология «плоского мира» [Латур, 2014] и «плоского города»). Социальная топология и лейбницевская философия пространства помогают преодолеть пропасть между множествами элементов «Город» (X) и «Язык» (Y). Теперь Парк Горького — это совокупность элементов «Z», часть из которых материальны, а часть — нет, но все непосредственно связаны друг с другом. И потому метафоры, конституирующие Парк Горького

как пространственный объект, сильнее связаны с объектами на его территории, чем с другими метафорами, не включенными в ядро конституирующих парк отношений.

На чем фокусирует внимание исследователя такое теоретическое решение? На негомеоморфных преобразованиях объектов. Если бы не запрет на курение, мы бы не увидели табачный дым в качестве элемента сетевой формулы кафе. Если бы не радикальная трансформация Парка Горького, мы бы не увидели метафоры хипстерского урбанизма в действии. Там где происходит разрыв топологической формы и объект смещается в пространстве сетей, происходит реконфигурация составляющих его отношений (или их полный распад, но тогда нам уже нечего изучать, кроме самого распада). Хипстерский урбанизм — столь интригующий объект исследования не потому, что представляет собой городскую идеологию (одну из многих), но потому, что он действует: принимает непосредственное участие в событии морфогенеза, входит в ядро устойчивых отношений нового топологического объекта.

Возможно, прививка такой топологической онтологии пойдет на пользу городским исследованиям. Среди бесконечных попыток импортировать концепты акторно-сетевой теории и достижения STS (исследований науки и технологий) в социологию города[1] топологический проект кажется, как минимум, интересным. Благодаря работам Латура и Ло мы уже научились мыслить вещи как действующие субъекты.

Осталось научиться видеть идеи как действующие вещи.

Библиография

Бурдье П. (1993) *Социология политики*. Пер. с франц. Н. А. Шматко, М.: Socio-Logos.

Вахштайн В. С., Железов Б. В., Ларионова М. В., Мешкова Т. А. (2005) *Системы высшего образования стран ОЭСР*, М.: ИД ГУ ВШЭ.

Вахштайн В. С. (2013) *Метафорика университета.* Available at: http://postnauka.ru/longreads/13 096.

Верлен Б. (2001) Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география. Пер. с англ. С. П. Баньковской. *Социологическое обозрение,* 1 (2).

Гидденс Э. (2001) Предисловие к книге Бенно Верлена. Пер. с англ. С. П. Баньковской. *Социологическое обозрение*, 1 (2).

Грац Р. (1995) *Город в Америке: жители и власти.* Пер. с англ. В. Глазычева, М.: Ладья.

Декарт Р. (1989) *Сочинения*: в 2 т. Т. 1, М.: Мысль.

1 См., прежде всего, работы манчестерской школы городских исследований — Саймона Гая и Альбены Яневой [Guy, 2007; Yaneva, 2005].

Дюркгейм Э. (1980) *Социология и теория познания. Хрестоматия по истории психологии,* М.

Колхас Р. (2013) *Нью-Йорк вне себя*. Пер. с англ. А. Смирновой, М.: Стрелка-пресс.

Латур Б. (2006) *Где недостающая масса? Социология одной двери. Социология вещей*, М.: Территория будущего.

Латур Б. (2014) *Пересобирая социальное. Введение в акторно-сетевую теорию,* М.: ИД ГУ ВШЭ.

Латур Б. (2012) Политика объяснения. *Социология власти*, (8).

Лефевр А. (2002) Идеи для концепции нового урбанизма. *Социологическое обозрение*, 2 (3).

Ло Дж. (2006) *Объекты и пространства. Социология вещей*. В. Вахштайн (ред.), М.: Территория будущего.

Луман Н. (2002) *«Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества. Теоретическая социология: Антология*. С. П. Баньковская (ред.). Т. 2, М.: Книжный дом «Университет».

Луман Н. (2005) *Реальность массмедиа*. Пер. с нем. А. Ю. Антоновского, М.: Праксис.

Напреенко И. (2013) Семиотический поворот в STS: теория референта Бруно Латура. *Социология власти*, (1–2).

Паперный В. З. (1996) *Культура Два*, М.: НЛО.

Пузанов К. (2013) Территориальные границы городских сообществ. *Социология власти*, (3).

Соссюр де Ф. (2006) *Курс общей лингвистики*. Р. И. Шор (ред.), М.: КомКнига,

Том Р. (2002) *Структурная устойчивость и морфогенез*, М.: Логос.

Филиппов А. Ф. (2008) *Социология пространства*, СПб.: Владимир Даль,

Яноу Д., Хульст ван М. (2011) Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования. *Социологическое обозрение*, 10 (1–2).

Alexander H. G. (1956) The Leibniz-Clarke Correspondence, Manchester: Manchester University Press.

Arendt H. (2006) Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought, London: Penguin Books.

Bartels D. (1968) Zur Wissenschaftstheoretischen Grundlegung einer Geographie des Menschen, Wisbaden: Franz Steiner.

Bremer F. (2003) John Winthrop: America's Forgotten Founder, N. Y.: Oxford University Press.

Burd'e P. (1993) Sociologija politiki [Sociology of Policy]. Per. s franc. N. A. Shmatko, M.: Socio-Logos.

Callon M. (1986) Some Elements of a Sociology of Translation Domestication of the Scallops and Fishermen of St Brieux Bay. Power, Action and belief: A new Sociology of Knowledge? J. Law (ed.), London: Routledge and Kegan Pol.

Curtis W. (1994) Le Corbusier: Ideas and Forms, N. Y.: Phaidon.

Gehl J. (2010) Cities for People, Copenhagen: Island Press.

Gehl J., Svarre B. (2013).How to Study Public Life? Copenhagen: Island Press.

Goffman E. (1963) Behavior in Public Places, N. Y.: Glencoe.

Guy S., Coutard O. (2007) STS and the City. Politics and Practices of Hope. Science, Technology and Human Values, 32 (6).

Hackworth J. (2000) The Neoliberal City: Governance, Ideology and Development in American Urbanism, N. Y.: Cornell University Press.

Hettner A. (1927) Die Geographie. Ihre Geschichte, ihr Wessen, ihre Methoden, Breslau.: Ferdinand Hirt.

Holston J. (1989) The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia, Chicago:

University of Chicago Press.

Jackson K. T., Ballon H. (eds) (2007) Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York. N. Y.: Norton.

Latour B. (1988) The Pasteurization of France, Cambridge: Harvard University Press.

Law J. (2004) After Method: Mess in Social Science Research, London: Routledge.

MacKenzie D. (2006) An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets, Cambridge, MA: MIT Press.

Mellor D. H. (1981) Real Time, Cambridge: Cambridge University Press.

Nerlich G. (1976) The Shape of Space, Cambridge: Cambridge University Press.

Schon D. A., Rein M. (1994) Frame Reflection: towards the Resolution of Intractable Policy Controversies, N. Y.: Basic Books.

Simmel G. (1995) Soziologie des Raumes. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 7. Hrsgg. v. Rüdiger Kramme, Angela Rammstedt und Otthein Rammstedt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Sklar R. (1974) Space, Time and Space-Time, Berkeley: University of California Press.
Smart J. J. (1964) Problems of Space and Time, London: Macmillan.

Swaminathan R., Goyal J. (2006) Mumbai Vision 2015: Agenda for Urban Renewal, Macmillan India.

Yaneva A. (2005) Scaling Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design. Social Studies of Science, 35 (6).

Yanik. L. (2009) The Metamorphosis of «Metaphors of Vision»: «Bridging» Turkey's Location, Role and Identity After the End of Cold War. Geopolitics, 14 (3).

References

Alexander H. G. (1956) *The Leibniz-Clarke Correspondence,* Manchester: Manchester University Press.

Arendt H. (2006) *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*, London: Penguin Books.

Bartels D. (1968) *Zur Wissenschaftstheoretischen Grundlegung einer Geographie des Menschen*, Wisbaden: Franz Steiner.

Bremer F. (2003) *John Winthrop: America's Forgotten Founder*, N. Y.: Oxford University Press.

Burd'e P. (1993) Sociologija politiki [Sociology of Policy]. Per. s franc. N. A. Shmatko, M.: Socio-Logos.

Callon M. (1986) *Some Elements of a Sociology of Translation Domestication of the Scallops and Fishermen of St Brieux Bay. Power, Action and belief:* A new Sociology of Knowledge? J. Law (ed.), London: Routledge and Kegan Pol.

Curtis W. (1994) *Le Corbusier: Ideas and Forms*, N. Y.: Phaidon.

Dekart R. (1989) Sochinenija [Selected works]: v 2 t. T. 1, M.: Mysl'.

Djurkgejm Je. (1980) Sociologija i teorija poznanija [Sociology and epistemology]. Hrestomatija po istorii psihologii [Handbook on the History of Psychology], M.

Filippov A. F. (2008) Sociologija prostranstva [Sociology of space], SPb.: Vladimir Dal'.

Giddens Je. (2001) Predislovie k knige Benno Verlena [Preface to Benno Verlaine's book]. Per. s angl. S. P. Ban'kovskoj. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological review], 1 (2).

Gehl J. (2010) *Cities for People*, Copenhagen: Island Press.

Gehl J., Svarre B. (2013).*How to Study Public Life?* Copenhagen: Island Press.

Grac R. (1995) Gorod v Amerike: zhiteli i vlasti [The Living City]. Per. s angl. V. Glazycheva, M.: Lad'ja.

Goffman E. (1963) *Behavior in Public Places*, N. Y.: Glencoe.

Guy S., Coutard O. (2007) STS and the City. Politics and Practices of Hope. *Science, Technology and Human Values*, 32 (6).

Hackworth J. (2000) *The Neoliberal City: Governance, Ideology and Development in American Urbanism*, N. Y.: Cornell University Press.

Hettner A. (1927) *Die Geographie. Ihre Geschichte, ihr Wessen, ihre Methoden*, Breslau.: Ferdinand Hirt.

Holston J. (1989) *The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia*, Chicago: University of Chicago Press.

Jackson K. T., Ballon H. (eds) (2007) *Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York.* N. Y.: Norton.

Janou D., Hul'st van M. (2011) Frejmy politicheskogo: ot frejm-analiza k analizu frejmirovanija [Frames of the political: from frame-analysis to the analysis of framing]. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological review], 10 (1–2).

Kolhas R. (2013) N'ju-Jork vne sebja [New York Delirious]. Per. s angl. A. Smirnovoj, M.: Strelka-press.

Latur B. (2006) Gde nedostajushhaja massa? Sociologija odnoj dveri [Mixing Humans with Non-Humans: Sociology of a Door-Closer]. Sociologija veshhej [Sociology of things], M.: Territorija budushhego.

Latur B. (2012) Politika ob'jasnenija [Politics of an explanation]. Sociologija vlasti [Sociology of power], (8).

Latur B. (2014) Peresobiraja social'noe. Vvedenie v aktorno-setevuju teoriju [Reassembling of Social. Introduction in actor-network theory], M.: ID GU VShJe.

Latour B. (1988) *The Pasteurization of France*, Cambridge: Harvard University Press.

Law J. (2004) *After Method: Mess in Social Science Research*, London: Routledge.

Lefevr A. (2002) Idei dlja koncepcii novogo urbanizma [Pour un nouvel urbanisme]. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological review], 2 (3).

Lo Dzh. (2006) Ob'ekty i prostranstva [Objects and Spaces]. Sociologija veshhej [Sociology of things]. V. Vakhshtayn (red.), M.: Territorija budushhego.

Luman N. (2002) «Chto proishodit?» i «Chto za jetim kroetsja?». Dve sociologii i teorija obshhestva. [What happens and what lurks behind it? Two sociologies and Theory of society] Teoreticheskaja sociologija: Antologija [Theoretical sociology: the Anthology]. S. P. Ban'kovskaja (red.). T. 2, M.: Knizhnyj dom «Universitet».

Luman N. (2005) Real'nost' massmedia [Reality of massmedia]. Per. s nem. A. Ju. Antonovskogo. M.: Praksis.

MacKenzie D. (2006) *An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*, Cambridge, MA: MIT Press.

Mellor D. H. (1981) *Real Time*, Cambridge: Cambridge University Press.

Napreenko I. (2013) Semioticheskiĭ povorot v STS: teorija referenta Bruno Latura [Semiotical turn in STS: Bruno Latour's theory of referent]. Sociologija vlasti [Sociology of power], (1–2).

Nerlich G. (1976) *The Shape of Space*, Cambridge: Cambridge University Press.

Papernyj V. Z. (1996) Kul'tura Dva [Culture Two]. M.: NLO.

Puzanov K. (2013) Territorial'nye granicy gorodskih soobshhestv [Territorial borders of city communities]. Sociologija vlasti [Sociology of power], (3).

Schon D. A., Rein M. (1994) *Frame Reflection: towards the Resolution of Intractable Policy Controversies*, N. Y.: Basic Books.

Simmel G. (1995) *Soziologie des Raumes. Georg Simmel Gesamtausgabe*. Bd. 7. Hrsgg. v. Rüdiger Kramme, Angela Rammstedt und Otthein Rammstedt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Sossjur de F. (2006) Kurs obshhej lingvistiki [Course in General Linguistics]. R. I. Shor (red.), M.: KomKniga.

Sklar R. (1974) *Space, Time and Space-Time*, Berkeley: University of California Press.

Smart J. J. (1964) *Problems of Space and Time,* London: Macmillan.

Swaminathan R., Goyal J. (2006) *Mumbai Vision 2015: Agenda for Urban Renewal,* Macmillan India.

Tom R. (2002) Strukturnaja ustojchivost' i morfogenez [Structural Stability And Morphogenesis], M.: Logos.

Vakhshtayn V. S. (2013) Metaforika universiteta [Metaphorics of University]. Available at: http://postnauka.ru/longreads/13 096.

Vakhshtayn V. S., Zhelezov B. V., Larionova M. V., Meshkova T. A. (2005) Sistemy vysshego obrazovanija stran OJeSR [High education systems of OECD countries], M.: ID GU VShJe.

Verlen B. (2001) Obshhestvo, dejstvie i prostranstvo. Al'ternativnaja social'naja geografija [Society, action and space. Alternative social geography]. Per. s angl. S. P. Ban'kovskoj. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological review], 1 (2).

Yaneva A. (2005) Scaling Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design. *Social Studies of Science*, 35 (6).

Yanik. L. (2009) The Metamorphosis of «Metaphors of Vision»: «Bridging» Turkey's Location, Role and Identity After the End of Cold War. *Geopolitics*, 14 (3).